

0: РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ВАРШАВЕ

В варшавском периодическом издании “Вопросы национальностей” (том V, 1996) был опубликован обширный материал Войцеха Станиславского “Русская эмиграция и русское меньшинство на территории II Речи Посполитой. Опыт характеристики диаспоры”.

Мы публикуем заключительные главы данной работы, посвященные культурной деятельности русской диаспоры, нашедшей убежище и поле деятельности в межвоенной Польше. Для “Новой Польши” автор, продолжающий работать над этой темой, исправил и дополнил свой текст.

“Организационных рамок” культурной деятельности эмиграции существовало немного. Осталась неисследованной созидательная деятельность на ниве культуры таких институтов, располагающих для этого весьма широкими возможностями, как школы и Церкви. Их активность была направлена скорее на то, чтобы “культивировать обычаи”, поддерживать традиции, окружать пиететом первоплановые фигуры русской культуры (Пушкин и др.), и гораздо менее на создание культуры, восприимчивой к действительности, ведущей с нею диалог или поддерживающей новые таланты.

Значительная часть деятельности, лежащей в основе культуры (сохранение дореволюционной орфографии, обращение к традициям и “русской старине” в иконографии, выбор тем и образности в публикуемых литературных произведениях, программы празднования “Дней русской культуры”), позволяет предполагать, что культурная деятельность эмигрантов в Польше носила резко “антикварный”, воспроизводящий, консервирующий характер. Это в свою очередь свидетельствует как о том, что они чувствовали опасность, угрожавшую их прежней культуре, так и о стремлении воссоздать ее в возможно неизменном виде.

Второй тип подхода предполагает открытость не только по отношению к изменениям в окружающем мире (в обществе, политике, нравах, культуре), но и по отношению к новым, прежде “чуждым”, но потенциально обогащающим факторам.

Для русской эмиграции на территории II Речи Посполитой таким “чуждым”, но обогащающим фактором была прежде всего польская культура. Поэтому столь интересны инициативы того круга, который собрался вокруг Д.Философа: его представители, осознавая многообразие комплексов с обеих сторон — польской и русской, — усиленно направляли русскую диаспору к установлению диалога с польской культурой, помогая усвоению ее ценностей и знакомству с ее мастерами. Тут стоит перечислить важнейшие из их начинаний, практически целиком ограниченных “кругом Философа”: продолжавшуюся многие годы публицистику Дмитрия Владимировича, стремившегося познакомить русского читателя с важнейшими явлениями польской культурной жизни (от обсуждения “напряженности” между только что созданным Институтом пропаганды искусства и “Захентой” до дискуссии по поводу начатой Боем-Желенским кампании “развенчания классиков”), прежде же всего, продолжавшиеся в течение полутора лет встречи в рамках небольшого польско-русского литературного клуба “Домик в Коломне”. “Это единственное место в Варшаве, где обсуждения проходят на таком уровне...” — делится в своем дневнике первыми впечатлениями от “Домика” Мария Домбровская. Такие начинания были лишь частью поставленной Философовым огромной и неблагодарной задачи “наведения мостов между поляками и русскими”. Эти усилия (несмотря на разочарования, которых Дмитрий Владимирович не скрывал) не прошли — хотя бы судя по числу сохранившихся сообщений — бесследно и имели большое значение также для польской культуры.

В числе “высоких” начинаний, проводившихся при этом с замыслом “наведения мостов”, следует перечислить некоторые из довольно часто проводившихся лекций и визитов ученых-эмигрантов, в том числе визит в Польшу проф. Петра Струве по приглашению Русского общественного комитета. П.Струве, принятый, в частности, проф. В.Ледницким и Т.Щецлем, напомнил, что “идеи независимости Польши были распространены среди дореволюционной прогрессивной русской интеллигенции”.

Однако добавим сразу, что встречи в “Домике” и несколько более раннем родственном ему “Литературном содружестве”, а также публицистика Философа, Хирьяковой, Бема и еще нескольких авторов “Меча” относились к “элитарной культуре”, доступной лишь самым образованным представителям эмиграции.

Большинство же оставалось пассивными потребителями культуры; в том, что касается эмигрантского сообщества на территории II Речи Посполитой, мы можем больше рассказать о тех, кто создавал культуру.

Эмиграции не удалось сформулировать программу “русской массовой культуры”, хотя, например, А.Нечаев говорит об “эмигрантских бульварных писателях”. Стоит также отметить усилия редакции “Молвы”, которая в 1932-1934 гг. предприняла явную попытку изменить характер газеты — вместо “информационно-политической” сделать ее “популярной и иллюстрированной”. На последней странице без всякой связи с текстом правят бал голливудские “звезды” и сенсационные репортерские снимки. Однако этого было недостаточно, и “польская массовая культура”, как представляется, была в тот период самым эффективным инструментом полонизации молодого поколения. Это прекрасно понимал Александр Кондратьев, который писал о “потере корней” у второго поколения эмигрантов, у молодежи, выросшей во II Речи Посполитой. Правда, он признавал, что бороться с этим невозможно: “...большая часть ее [молодежи. — В.С.] предпочитает игру на мандолинах или балалайках, карты, флирт (взгляните-ка в “почтовый ящик” “Звена”)), — сообщает он в одном из писем. Упомянутые в другом письме танцы, бридж, радио, цветные обложки дешевых романов, которые приобщают к польскому языку интереснее и эффективнее, чем обязательный польский язык в программе, представляли собой в его глазах двойное отступничество: от русской традиции и от “высокой культуры”. Но при этом он скептически относится к “охранительной” позиции эмиграции, проявляющей консервативные или монархические склонности и борющейся с коммунизмом — как с иронией сообщает он своему корреспонденту — “такими средствами, как танцы Анны Павловой, кабаретные выступления труппы Балиева, шахматные рекорды Алехина”.

Однако мероприятий именно такого рода было больше всего. Как я уже упоминал, русская диаспора была обращена к традиционным ценностям, образцам и поэтике: весьма характерным был явно “идеализирующий” культ личности Пушкина и его произведений. Ежегодно во многих местах устраивались торжества в дни его рождения и смерти. Особенно торжественно отмечалось столетие со дня смерти Пушкина в 1937 году. Пушкинские комитеты были тогда созданы во многих городах (в том числе в Бресте, Львове, Лодзи, Остроге, Познани, Сейнах, Вильне, Варшаве). Ежегодно проводились многочисленные торжественные заседания с докладами и чтением стихов Пушкина. Из-за рубежа выписывались многочисленные издания “классики русской литературы”.

Объединяющим началом служили публичные исполнения музыки, чаще всего песен. Общеизвестны были действовавший в 20-е годы квартет “Хор братьев Васильевых”, а также “Хор Семенова”. Сохранившемуся в коллективной памяти убеждению об участии русских певцов в публичной жизни (в том числе польской) и популярности среди поляков (в том числе офицеров) русских романсов противоречит не проверенная мною информация об изданном в 30-е годы распоряжении МВД, запрещающем исполнять русские песни в публичных местах (ресторанах, кафе), а также выписывать из-за рубежа русские книги в польские и еврейские библиотеки. На рубеже десятилетий работал русский эмигрантский передвижной цирк.

Кажется, предпринимались также попытки создать “новый стиль жизни эмигрантов” — самым известным проявлением этого можно назвать проводившиеся начиная с середины 1920-х “Дни несогласия”. На эти “Дни”, которые обычно устраивали в годовщину октябрьской революции, собиралась вся русская общественность — как эмигранты, так и те, кто получил гражданство. Обычно скептически относившийся к “патриотической мишуре” Философов, на сей раз, делясь с читателями своими впечатлениями, растроганно вспоминает, как на одной из таких встреч внесли “трехцветный флаг национальной России” и студенты отнеслись к нему “как к святыне, не как к украшению ежедневных эмигрантских свиданий”. Проводились и другие юбилейные встречи, например, в 1938 г. — торжественное заседание, посвященное двадцатилетию белого движения.

Однако для молодого поколения, вероятно, наиболее привлекательными были светские мероприятия, прежде всего упоминаемые и поляками балы. Даже спустя годы эмигранты весьма высоко оценивали уровень этих балов: “...ежегодный Русский бал был одним из самых элегантных в Познани”. Часто во время бала проводился благотворительный базар: тут примером может служить проходивший ежегодно в нескольких местах Бал русского студента. Следует сказать и о спланированных диаспору новогодних встречах и детских елках.

К созидательной деятельности на ниве культуры, наряду с уже упомянутыми начинаниями в кругах, близких Философову, следует отнести прежде всего деятельность поэтических групп: в 1921-1925 гг. это “Таверна поэтов”, а в 1929-1935-м — “Литературное содружество”.

В первую входили те, кто был связан с кругом газеты “За свободу”, хотя бы потому, что они там печатались: Всеволод Байкин, Владимир Брандт, Борис Евреинов, Сергей Жарин. Вторая группа была тесно связана с Философовым. Ее ядро составляли ближайшие сотрудники Дмитрия Владимировича 30-х гг.: супруги Хирьяковы (Александр и Евгения, урожд. Вебер), Сергей Войцеховский, Лев (Леон) Гомолицкий, Юрий Клингер, Владимир Брандт.

К самым известным мероприятиям “Литературного содружества” относились частые, иногда еженедельные, встречи, на которых бывали также польские критики и другие представители интеллигенции. Это дает повод предполагать, что “Содружество” послужило неким прототипом “Домика в Коломне”.

Вторым направлением деятельности была публикация произведений поэтов — членов “Содружества”. Похоже, что им первым удалось в значительной степени преодолеть “синдром газетного существования”; ибо, за исключением сборника “Походных песен” Зинаиды Гиппиус, вышедших в 1920 г., не сохранилось данных о более ранних сборниках русских поэтов-эмигрантов, выходивших в Польше. Между тем круг “Священной лиры” (Лев Гомолицкий, Александр Кондратьев, Юрий Клингер), душой которого был невероятно активный в этой среде во второй половине 1930-х Гомолицкий, достиг того, что сначала вышли их собственные сборники, а затем — объемистая “Антология русской поэзии в Польше”, куда вошли произведения полутора десятка поэтов: наряду с тремя вышеупомянутыми, там были стихи Александра Хирьякова, Сони Кунцевич, Александра Топольского и др. Стоит упомянуть и отмеченную Я.Кульчицкой-Салони “интеграцию” русских, живших в Польше, с эмиграцией в других европейских странах: в тщательно составленной антологии среди мест издания предыдущих сборников названы, в частности, Таллин, Рига и Париж.

Третьей созидательной для культуры средой в Варшаве была Русская театральная студия, организованная Натальей Гуляницкой. Студия заявила, что намерена продолжать традиции МХАТа и поставила множество спектаклей для русского зрителя. Ее актеры приняли также участие в съемках фильма “Молодой лес”.

Можно ли говорить, что существовавшие и действовавшие в среде эмиграции столь разные группировки и организации, составляли некую “русскую Варшаву”, отдельный квартал, наподобие известных нам Литл-Итали или Чайнатауна?

Разумеется, нельзя говорить о существовании какой-то четко очерченной территории проживания русского меньшинства. Однако представляется, что более тщательные поиски в архивах позволили бы нам воссоздать карту “путей” и “мест”, где встречались полтора десятка тысяч живших в столице русских. Уже сегодня на ней можно обозначить “Русский дом” на Маршалковской 68, где размещалась самая большая русская библиотека. “Русский дом” служил штаб-квартирой многих организаций, там часто проводились встречи и лекции. А оттуда уже недалеко до Хмельной, а дальше — Длуга 50, где в двадцатые годы помещалась редакция “За свободу”. Редакции “Молвы” и “Меча” находились на Хотимской; там же проходили и встречи “Домика”. Свои помещения для встреч и балов особенно часто предоставляло эмигрантам Гигиеническое общество (Карова 10). Более камерные встречи и “чаепития” часто проходили в доме 42 по ул. Новый Свят. Гуляя по Новому Святу, можно было также заглянуть в помещавшийся в доме 69 книжный магазин Стракуна и расположенный рядом магазин Серебрянникова (“Россика”); другие книжные лавки находились на Рымарской, Гжибовской, Даниловичовской и даже на ул. Краковское Предмесье. На Новом Святе находилась и Русская театральная студия. В доме 7 по Обозной была русская гимназия; в Праге, правобережном предместье Варшавы, в первые годы важным центром был дом 5 по Зигмунтовской улице, где помещался Русский комитет в Польше; до 1939 г. на правый берег Вислы ездили православные прихожане. Разумеется, весьма важным, хотя и куда менее посещаемым центром на этой воображаемой карте будут увековеченные в одном из эссе Ежи Стемповского улицы Вроня и Сенна, а также находившаяся на Сенной квартира Д.Философова. Повседневную жизнь эмигрантов следовало бы воссоздавать по объявлениям в газетах, которых так много, что сегодня это зачастую затрудняет чтение тогдашней прессы. В целом они указывают на существование общины, колеблющейся между нескрываемым потреблением, с одной стороны, и нищетой и упадком — с другой; с объявлениями портных, ювелиров, кабаре соседствуют анонсы комиссионных магазинов, бюро путешествий, предлагающих переезд (сначала во Францию и Соединенные Штаты, а потом все чаще — в Ровно), и врачей — чаще всего “по легочным и венерическим болезням”. Многочисленны также объявления курсов иностранных языков: французского, немецкого и польского.

Стоит хотя бы в нескольких абзацах попытаться воссоздать некоторые аспекты пребывания эмигрантов в Польше — те, что труднее всего вычленишь и передать: их самочувствие, взгляд на себя в новой стране, отношение к самой этой стране.

Тут найти источники труднее всего. Высказывания эмигрантской интеллигенции, естественно, недостаточно представительны. Получившие самое лучшее образование, еще до революции путешествовавшие и соприкасавшиеся с другими культурами, в большинстве своем действовавшие в пользу “сближения”, они не до конца сумели назвать фобии и комплексы своих соотечественников. “Письма в редакцию”, жалобы, поступавшие в общественные организации, писались с мыслью о сиюминутных вопросах, связанных с обеспечением материального существования.

Среди многих причин, которые затрудняли сосуществование эмигрантов с польским обществом, следует назвать две основных: с одной стороны, бремя “польской коллективной памяти” и неблагоприятных стереотипов о

русских, с другой — принципиальный, неразрешимый в тогдашних обстоятельствах спор между государственными соображениями Польши и России (“белой” России).

Среди живучих стереотипов польского коллективного сознания Россия занимает особое место. Это сложилось как ввиду того, что национальные стереотипы всегда красочней и устойчивей, когда они относятся к “соседям”, так и в силу сложных и драматических судеб польско-русских отношений, Польши и России, русских и поляков. “Россия” стала устойчивым компонентом польской исторической памяти, а “запись” обобщенных убеждений и коллективных представлений поляков о России и русских вписана в тысячи “текстов культуры” — от поговорок и фразеологических оборотов до великой (и самой ничтожной) поэзии. Вполне сознавая, что стереотип “другого” всегда не до конца устойчив и переживает эволюцию, следует, однако, отметить то, что кажется почти очевидным: в годы, наступившие после обретения Польшей независимости в 1918 г., в стереотипах о России и русских преобладал негативный аспект. Это было вызвано несколькими факторами, самый главный из которых — разумеется, наследие эпохи разделов Польши: независимость впервые позволила полякам говорить открыто (уже не в нелегальной литературе или в том, что издавалось на польских землях в Австро-Венгрии) обо всех драматических событиях, связанных с захватом большинства польских земель Россией. И было почти невозможно не распространять эти обобщения на русскую эмиграцию. Изгнанников воспринимали с точки зрения ушедшей эпохи российских завоеваний, как ее реликт. Это было легко, если учесть, что многие эмигранты (хотя далеко не все!) прежде принадлежали к верхам империи. “Откуда такая доброта к москалям, которые у нас создают армию против нас же?” — писала в ответ на сообщение о создании русских добровольных отрядов “семидесятилетняя женщина, дочь участника [восстания] 1831 г., сестра людей, принесенных на алтарь отечества [18]63 г. и мать трех сыновей, имеющих заслуги перед родиной”. Это “наболевшее” в коллективной памяти было довольно распространено.

Вторую важнейшую помеху диалогу, дружбе, вращению русских в польскую культуру составлял почти неизбывный конфликт двух типов “государственных соображений”. Об этом вопросе написано, говорю без преувеличения, десятки томов; однако, сильно упрощая, можно сказать, что подавляющему большинству концепций “польской восточной политики”, формулируемых на пороге межвоенного двадцатилетия и в первые, “учредительные” годы II Речи Посполитой, при всей их разнородности было присуще убеждение, что польская граница на востоке должна идти дальше т.н. этнографической границы (как обычно называли ее в русской политической публицистике), т.е. восточной границы Царства Польского — Привислинского края. В 1918-1921 гг., когда определялась восточная граница государства, многие влиятельные политические группировки — независимо от горячего спора между приверженцами федерализма и сторонниками “полонизации” — были глубоко убеждены, что в состав польского государства должна входить значительная или даже подавляющая часть земель, находившихся под властью Польши до 1772 года.

Сам же факт, что в Варшаве обсуждали судьбу земель к востоку от “этнографической границы”, определял противостояние (а следовательно, и потенциальный конфликт) между польским подходом (даже если это был не один, а несколько подходов) и подходом русских белоэмигрантов. Их подход в подавляющем большинстве случаев сводился к защите концепции “неделимости”, сохранения России в границах 1914г. (с немногочисленными уступками вроде Привислинского края). Правительство адмирала Колчака еще в декабре 1918 г. заявляло, что план полного восстановления Польши неизбежно ведет к конфликту с русской национальной точкой зрения. В более подробных разборах подчеркивалось, что российская сторона не согласна на присоединение к Польше какой бы то ни было части Литвы и Белоруссии, Хелмской (Холмской) земли, Галицкой, Прикарпатской и Буковинской Руси. Пожалуй, единственным, кто отступал от этих концепций, был Борис Савинков, однако он не смог завоевать себе сторонников среди эмигрантов.

Другое дело, что поляков, которые могли бы найти с эмигрантами общий язык, было порядочно. И это одна из причин, по которым положение русских эмигрантов в Польше было несравнимо с их статусом в странах Западной Европы. Не говоря уже о знании русского языка или “общей памяти” о жизни в Российской империи (эта память была во II Речи Посполитой уделом нескольких миллионов поляков — бывших подданных Николая II), существовало немалое число людей, принимавших активное участие в жизни страны и сохранявших тесную связь с “высокой” русской культурой. Прежде всего я имею в виду тех, у кого апогей активной профессиональной жизни выпал на эпоху до обретения независимости и кто в независимой Польше составлял элиту государства и общества (политическую, культурную, профессиональную) — кстати, во многих случаях благодаря своей квалификации, приобретенной скорее деятельностью в Петербурге или Москве, нежели в “Привислинском крае”. В Польше многие из них продолжали активно участвовать в государственной и общественной жизни, а вступая в отношения с русскими беженцами или возобновляя прежние отношения, они могли с исключительной легкостью апеллировать к “общему прошлому”. В то же время это прошлое могло возбуждать у них деятельное сострадание к беженцам из России, оказавшимся на “варшавской панели”

(впрочем, заметим, что это, к сожалению, случалось довольно редко). Причины, по которым оно не проявилось шире и активнее, заслуживают особого рассмотрения, чем автор в настоящее время занимается.

“Среди русских эмигрантов существует убеждение, что правительство Польши оказывает предпочтение украинским и грузинским беженцам, относясь к русским неприязненно. В свете [проведенных комиссией] исследований это мнение не нашло подтверждения”, — сообщается в докладе Симпсона, одном из немногих источников, информирующих о мнении эмигрантов. Значительно более тонко с психологической точки зрения этот аспект представлен в отрывке из воспоминаний З.Рашевского, касающемся его русских соучениц по быдгощской средней школе:

“Не было и речи ни о какой дискриминации этих девочек или их семей. У Тамары (...) были фамильярные отношения с учительницами, а отец обеих сестер трудился в родительском комитете, и это никого не удивляло и не возмущало. (Само собой, он бегло говорил по-польски, как и его дочери.) (...)”

Никто не относился к этим людям как к недавним захватчикам. Лишь позже я понял, что все же они, наверное, переживали мучения, прежде всего на уроках истории. Их присутствие никому не мешало не щадить на этих уроках Россию. Наверное, просто забывали, что вот эта Нина — русская. А дома ее, несомненно, воспитывали в духе российского патриотизма”.

Можно также себе представить, что язык, которым говорилось о “грехах России” на уровне пропаганды, торжественных заседаний, массовой прессы, улицы, был значительно менее взвешенным, чем на уроках истории в гимназии с хорошей репутацией. Обе позиции, которые могли выработать русские подростки перед лицом обвинений такого рода: как ощущение их несправедливости, так и наверняка более редкое чувство вины, — безусловно, не помогали установлению нормальных контактов с польскими ровесниками.

Как оценивали русские текущую политику Польши? Здесь тоже — если исключить как источник газетные передовицы, в которых здравый разум ограничивал возможную горечь, — мы не имеем почти никаких материалов. “Рижский мир мы восприняли как то, что нас оставили с носом”, — вспоминает русский студент из Познани. Проявляющуюся в тех же воспоминаниях (и якобы общераспространенную) неприязнь эмигрантов к воеводе Костке-Бернацкому можно объяснить его политикой по отношению к православной Церкви — еще одно доказательство ее значения в польско-русских отношениях. В какой мере данью требованиям лояльности, а в какой констатацией факта является редакционная статья в виленской газете “Новое время”? По ее мнению, Россия для русской молодежи — это символ, традиция, нередко только понятие: воспитанное в польской школе, высоко ценящее польский национально-политический идеализм, это поколение стремится создать прекрасные польско-русские традиции.

Наверное, стоило бы проанализировать и отношение русской эмиграции к “полонизированным русским”, активно участвовавшим в интеллектуальной и профессиональной жизни Польши: тут следует назвать хотя бы преподавателя ихтиологии в Варшавском университете проф. Спичакова, научного сотрудника Варшавского политехнического института д-ра Концевича, наконец, Д.М.Сокольцова, инженера-радиотехника, “одного из организаторов радиотехнической школы в Польше” и директора довоенного Государственного института телекоммуникации. Естественно, для эмигрантов имело значение и участие русских в польской “массовой культуре”; один из опрошенных называет в их числе игравшего в польской сборной по футболу Бориса Романа. Анекдотический характер носит информация о занявшей первое место на конкурсе красоты “Мисс Европы” Кате Масловой из Вильно. “Премия не была вручена, так как у нее было польское гражданство и жюри решило, что она не может представлять Россию”.

Разрываясь, как в этом случае, между смешным и трагическим, русская эмиграция на территории II Речи Посполитой просуществовала в состоянии почти неизменном до 1939 года. Судьбы ее в годы II Мировой войны и всех послевоенных лет известны еще менее. Принимая во внимание все обстоятельства, нетрудно догадаться, что эти годы стали для русской диаспоры годами испытаний. Впрочем, это ясно из немногочисленных собранных мною рассказов, касающихся того периода. Пока что их слишком мало, чтобы отважиться создавать синтез “русских судеб на польской земле после 1939 года”; но я надеюсь, что когда-нибудь это станет возможным.

Войцех Станиславский — докторант Варшавского университета, научный сотрудник Центра восточных исследований. Занимается изучением русской эмиграции в Польше в 1918-1939 гг., в особенности ее политической деятельностью и отношениями с Польшей и поляками.

1: ЭПИТАФИЯ ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

Вот путь мой дорога от ада до ада

Несусь сломя голову вниз наугад

Никто не удержит, не скажет — не надо,

Не снимет мостов, не поставит преград!

По краю, по самому краю!

Без цепей над крутизною замираю

Тут стрезва-то с потрохами черт возьмет

Голова моя не варит ни хрена

Волчьей ямой памяти мелькнет

Крутизна!

По краю! По краю! По краю!

Я пока что сам дорогу выбираю.

Проигравшие, схватясь за стремяна,

Не скачи туда, кричат, повремени!

Я скачу, а подо мною крутизна

Та, в которую посыпались они.

Вот путь мой дорога от ада до ада

Я прыгаю в пропасть — конь вынес, и вот

По первому кругу скачу я куда-то

Комедия Данте, но мой перевод.

— Ты иди сюда, иди сюда, иди! —

Девка рыжая маячит на пути

В гриву конскую вцепляется рукой

Конь метнулся — удержусь ли на коне?

— Что с тобою, князь мой дорогой,

Шепчет мне...

По кругу, по кругу, по кругу!

Прочь ты, ведьма, отпусти мою подпругу!

А она мне — и слезы в глазах:

Ты не бойся, родной, не робей,

Не один ты там будешь, казак,

Там в аду очень много людей!

Вот путь мой дорога от ада до ада

Второй уже круг — бестелесных калек

Нагонит мой конь бессловесное стадо

Минует — и вновь начинается бег.

Навеки! Навеки

Осужденные, бедняги-человеки!

То в болоте по колено,

То вы лед дробите тут.

Или смерть людей из плена

Забирает вновь под кнут?

— Не скажи так, не скажи так, не скажи!

Ты, поэт, жалеть нас не спеши.

Мы ушли из рая сами.

Здесь наш угол, здесь наш дом.

Не придут сюда за нами,

Не настигнет тут нас гром.

Ты хозяйюшка лесов, полей, болот

Растопи-ка в бане камни добела

Боль из тел распаренных уйдет

Можно будет целиться в тела.

Там где слева у сердца дрожит весь в поту

Профиль Сталина сиречь отца.

Специально кололи мы сторону ту,

Чтоб он слышал, как рвутся сердца.

Вот путь мой дорога от ада до ада

Вдруг свет керосина, глаза мне слезя

Блеснул из избушки — стоит себе хата

На третий уж круг повернула стезя:

Заходи к нам! Заходи к нам!

Как ты только умудрился угодить к нам!

Самовар кипит, садись к столу и пей

Пей, сынок,

Самогону с нами выпей, не робей

Будь здоров!

Нам неплохо! Нам неплохо!

Так живем себе, без возгласа и вздоха!

Поживем и померем

Не услышит о нас свет,

После смерти попьем

За прожитых в добром здравье пару лет.

Вот путь мой — дорога от ада до ада

Вот город с домами стена к стене

Немного качаюсь, но ехать-то надо

Четвертый уж круг намечается мне.

В цирк! Не в цирк, тогда в кино!

Включишь телевизор — сказка все равно.

Мать гуляет, папа пьет,

Сын играет в ножички.

Пионерские поет

Песенки про звездочки.

Идите! Идите! На митинг!

Стукачу-то на глаза не попадите!

Ну, сосед — другое дело,

Можно выпить, он как брат,

С ним зато и выпей смело

Он тебе нальет и будет рад.

Вот путь мой — дорога от ада до ада

Вот Гамлет — он шпагу роняет из рук

На лоб его смертная сходит прохлада,

И пятый теперь начинается круг

О мать моя! О моя мать!

Как могла ты перед ним не устоять?

Ведь он мужа твоего убил,

И меня теперь — о как же ты могла?

Он страну твою ограбил, погубил!

Бейте же в колокола!

Тревога! Тревога! Тревога!

Выбирай — твое хотенье или Бога.

Мама, этого не надо,

Мы исправим все, постой!

Цензор из восьмого ряда:

— Нет, в таком виде это пойти не может!

Вот путь мой — дорога от ада до ада

Пиво и водка, вино и коньяк

Последняя Мекка, для лучших награда,

В шестой уже круг мой решительный шаг.

Наверху! Наверху! Наверху!

Сам хотел бы я, скажу как на духу.

Так пожить бы, как там, на горе,

И пожалуй, подольше тогда.

Там живут они как при царе.

Это да!

А внизу, а внизу, а внизу

Корка хлеба и водки стакан

И, шатаясь, бредешь, как в лесу,

Протрезвеешь — печаль и тоска.

Душу сгубишь, сидишь сам не свой.

Так бы бился об стол головой!

Вот путь мой дорога от ада до ада

И вот надо мною сгущается мрак

В нем бесов мерцает и светится стадо

В седьмой уже круг свой я делаю шаг.

Там молчат и сидят

Все ведь знают — но в глаза мне не глядят,

Все сидят, не встают

Только мутно глядят из-под век

И беззубо все что-то жуют

Целый век!

Вот стою! Вот стою! Вот стою!

А они подшили в папку жизнь мою.

Не читают, меня не пытаются,

А сидят и молчат и молчат.

За окном барабаны играют.

— Снова праздник, а может, парад.

И тут понял я, что хотят сделать со мной,

И сдавил мое горло страх!

Конь пропал, у меня семь кругов за спиной,

А в глаза вам и в очи прах!

И никто ко мне не тянет страшных рук

И я понял, что страшней всего.

Для меня восьмой готовят круг

Круг, в котором больше нету ничего.

Только помните меня что будет сил,

Хоть мелькнул я перед вами, словно тень.

Затопите баньку, чтобы камень в пыль —

Я вернусь, когда настанет день!

1980

2: УЧЕНИК ВЫСОЦКОГО

— *Говоря о тех, кто оказал на тебя наибольшее влияние, когда ты только начинал писать песни, ты чаще всего называешь Окуджаву, Бреля, Brassанса, Дилана.*

— Прежде всего был Высоцкий, а уж потом — все, кого ты сейчас назвала. В их песнях важнее всего были слова. Слушая их, я учился языкам, а главное — набирался умения называть и описывать действительность.

Вначале было слово. Мир создается, когда все в нем получает названия. И для меня это с самого начала было важнее всего. И еще тот вид экспрессии, которым пользовался Высоцкий.

Впервые увидев его “живьем”, я осознал, какое впечатление производит его лицо, полное усилий и выразительности, когда артист извлекает из себя этот необыкновенный голос. И я подумал: вот роль для меня, я хочу точно так же переживать то, что делаю.

— *Когда ты впервые встретился с песнями Высоцкого?*

— Не помню точно — мне кажется, у нас дома всегда громоздились магнитные ленты с записями русских песен. Не только Высоцкого, но и Окуджавы или Генрика Шульца, которого позже я встретил в Швеции, а в его

репертуаре были “блатные”, запрещенные песни, распространявшиеся нелегально. Всеми этими записями я жил как чем-то естественным.

И только услышав живого Высоцкого на домашнем концерте у четы Гофманов, я отождествил его с частью этих записей и признал его для себя самым главным, больше всего говорящим моему воображению.

— *Высоцкого ты увидел в 1974 г., тебе было 17 лет. И вскоре ты написал “Облаву”.*

— Я тогда впервые услышал “Охоту на волков”, и “Облава” была моим вариантом того, что я запомнил. (...) Мелодия тоже другая — я только старался сохранить тот же характер этой яростной облавы. (...)

— *Если говорить о том, как у тебя проявилось вдохновение жизнью и творчеством русского барда, то вершинное твоё достижение — “Эпитафия Владимиру Высоцкому”.*

— Я очень сильно пережил его смерть и долго не был уверен, писать ли об этом вообще. Дома я был воспитан в сдержанности и неприязни ко всякой демонстративности. Не люблю ходить на похороны, не схожу с ума по юбилейным речам. Я очень долго переваривал в себе эту мысль — от июля 1980 го, когда Высоцкий умер, и до ноября, когда я написал “Эпитафию”. Помню, все началось с переделки его слов: “Из бани по-белому привезли из Сибири в Сибирь”. Я заменил это на “дорогу от ада до ада”, что сразу придало произведению некоторый универсальный характер.

И я осознал, что эпитафия ему может стать такой фреской о России, а в принципе — обо всей системе, отсюда появились отсылки к Булгакову, Достоевскому и даже Данте. Я хотел, чтобы “Эпитафия” приобрела как можно более универсальный характер. А раз это такое бахтинское хождение, то туда можно было все вместить: и мои воспоминания о России, и алкоголь, и коммунистические торжества, и жизнь простых людей, и тех жутких бесов, которые несут смерть художнику, не убивая его, а погружая в забвение, уничтожение памяти о нем.

Это очень универсальные символы — надо было только найти оптимальную конструкцию, и я нашел ее в виде кругов ада. С двумя припевами. Первый — переложение из “Баньки по-белому”, на мой взгляд, лучшей песни Высоцкого. У меня, правда, этого нет, но речь идет о том, что человек хотел бы очиститься от всей этой грязи, которой он оброс, но в какой-то момент отказывается от этого, поняв, что эта грязь, то, чем он пропитался, этот кошмар, — единственное обоснование его бытия. Это одна из важнейших мыслей, которые я понял и хотел передать. Она стала безумно важной после 1989 г., когда люди так поверхностно смыли с себя всякую грязь, поносили памятники и теперь уже не помнят, как оно было.

— *О восприятии “Эпитафии” в России мне много рассказывала Марлена Зимна, знаток творчества Высоцкого. Говорила она, в частности, что ты покориł русских тоном сочувствия к их народу, тоном, лишенным чувства превосходства, так частого у нас, у поляков.*

— Тут другой механизм. И это касается не только Высоцкого и русских. Просто я без остатка отождествляюсь с лирическим героем. Когда пою о России — я русский, а когда о Помпее — житель Помпеи. Может быть, то, что я скажу, прозвучит глупо, но это и творческий метод, и часть моей натуры.

Мне даже легче страдать за кого-то другого, чем за себя самого. У меня чувства сильнее, когда я отождествляюсь с чужим страданием, нежели когда пытаюсь обдумать свою жизнь.

Собственная жизнь, даже со всеми ее драмами или несчастьями, кажется переносимой. А боль от чужого страдания терзает меня сильнее. Отсюда и идет все это творчество и весь процесс самоотождествления. (...)

— *Сколько же в таком случае правды в словах одной из твоих песен: “Я просто русофил и антикоммунист”?*

— Русофил — это, может быть, преувеличение, которое могло бы означать, что я страстно люблю все русское. На самом деле речь идет о том, что у меня нет ни малейшего рефлекса неприязни или отталкивания от чего бы то ни было русского. (...)

— *Расскажи еще о сценической судьбе “Эпитафии”.*

— Ее премьера состоялась в варшавском театре “Стара проховня” осенью 1980 го. Я страшно волновался, но приняли “Эпитафию” прекрасно. Цензура ко мне не придиралась, дело было уже после августа, уже можно было сказать гораздо больше. И “Эпитафия” сразу железно вошла в мой репертуар, потому что слушатели понимали, что это не только дань памяти Высоцкого, но и некая попытка синтеза: что такое коммунистическая Россия. (...)

Ее никогда не передавали ни по радио, ни по телевидению, до самого 1989 года. Такие слова, как “Идите! Идите! На митинг!” или предостережение от стукачей, дисквалифицировали, были в то время неприемлемы. (...)

— *Подводя итог: чем ты обязан Высоцкому?*

— Я уже сказал, что в 1974 г. понял: это образ жизни и творчества, т.е. отношение всерьез к чему-то такому несерьезному, как песня. Петть так, словно поешь в последний раз, потому что это придает исключительный характер каждому выступлению. Петть о самом горьком, самом трагическом — в принципе почти истерика, но с насмешливой изнанкой, иронией. (...)

Но возвращаясь к “Эпитафии”: еще по одной причине она стала для меня переломным произведением. Здесь я усвоил форму пастиша, собственной конструкции, основанной на чужих мотивах. Эта конструкция оказалась несущей, особенно пригодной в тех случаях, когда речь идет о других художниках, когда хочешь передать чью-то философию, стилистику или экзистенциальную ситуацию.

Из этого же корня выросли “Эпитафия Бруно Ясенскому” и “Рублев” по фильму Андрея Тарковского; отсюда же — песни “Александр Ват” и “Ян Кохановский”. Они навсегда — по крайней мере для меня самого — останутся важнейшими, потому что в их основе — не столько изложение какого-то сюжета, сколько показ мира чужими глазами, показ всех наших драм, внутренних конфликтов, смешных сторон, трагедий сквозь призму чьей-то личности или судьбы: Высоцкого, Вата, Кохановского; это возможность дискуссии с людьми, которых уже нет в живых, так, как если бы они были рядом с нами. (...)

— *Часто ли тебе приходилось слышать, как тебя сравнивают с Высоцким — и по роду творчества, и по стилю жизни, жадному, торопливому, нервному?*

— Когда-то — может быть. Кто-то мне даже в шутку сказал, что каждый себе выбирает учителя. Этим учителем может быть и Высоцкий — почему бы нет, — лишь бы не до конца. Речь шла о моих алкогольных подвигах и о том галопе, благодаря которому я успевал жить, как говорится, втрое. Но уже несколько лет как это перестало быть актуальным.

Зато творчество поначалу очень на него походило. Я писал, как Высоцкий, только по-польски, и пел, как Высоцкий, срывая горло.

Но это очень скоро кончилось. Через два-три года я обратился к истории — сначала к истории Польши в программе “Музей”, потом к универсальным темам средиземноморской культуры, где искал для себя мотивы. И, естественно, обращался к нашим литературным традициям, главным образом к традициям романтизма, а потом — Возрождения. То есть делал вещи, которые Высоцкому были совершенно чужды. Главное же — я все время черпал образцы из искусства. Так что у меня — искусство, питавшееся искусством, в то время как он в подавляющем большинстве произведений питался жизнью. (...)

Сегодня я знаю, что уже не напишу ничего подобного “Эпитафии Владимиру Высоцкому”, потому что в моем возрасте уже не поддаешься подобным восторгам. Даже если бы появился кто-нибудь, способный захватить не меньше, чем Высоцкий.

В молодости он был для меня источником неустанного вдохновения и творческой напряженности... Потом — пожалуй, со времен эмиграции — я оказался в своей лодке. И если даже возвращался к Высоцкому, то уже как к сознательно избираемому стилю. Иногда, когда мне не хватало своих замыслов, я изучал его песни, искал в них вдохновения, но это был уже сознательный творческий метод, а не чувство личной связи.

3: “ТАРАС БУЛЬБА” – НАКОНЕЦ ПО-ПОЛЬСКИ

Уже более полутора столетия польские читатели и зрители знают Николая Васильевича Гоголя прежде всего как автора “Ревизора” и “Мертвых душ”. Несколько меньше, но знают его пьесы “Женитьба” или “Игроки” и прекрасные повести, в первую очередь “Шинель”. Но лишь те, кто владел русским языком, имели возможность познакомиться с его исторической повестью “Тарас Бульба”. Правда, ее польский перевод вышел еще в 1850 г., но с тех пор ни разу не переиздавался. Он принадлежал перу некоего Петра Гловацкого, народного учителя из Галиции, умершего в 1853 году. “Тарас Бульба, запорожский роман” (так переводчик озаглавил свой труд) вышел в свет во Львове. Ни в одной польской библиотеке это издание отыскать не удалось.

Никто так и не решился последовать примеру Петра Гловацкого (публиковавшего также под псевдонимом Федорович). Следует, однако, помнить, что отсутствие польских переводов “Тараса Бульбы” в XIX веке — не то же самое, что после 1918 года. На польских землях, входивших в состав России, знание русского языка приобреталось в школах, и неслучайно эта повесть Гоголя была включена в школьный список книг для обязательного чтения как раз в годы усиленной русификации. А во времена II Речи Посполитой, в межвоенные годы, число поляков, способных прочесть “Тараса Бульбу” в оригинале, значительно уменьшилось. Наконец, в ПНР многолетнее изучение русского языка в школах оставалось довольно безуспешным. Воистину на почве природной лени пышным цветом распускается показной патриотизм! Кроме того, когда писали о Гоголе, этой повести старались попросту не замечать.

И все же главная причина, по которой у нас не знали “Тараса Бульбу”, состояла в том, что с самого начала эту повесть объявили недоброжелательной по отношению к полякам. Не приходится удивляться, что во всех трех частях разделенной Польши ни одно периодическое издание не решилось опубликовать хотя бы небольшие отрывки из нее.

Польская литературная критика едва ли не сразу выступила с безоговорочно отрицательной оценкой как художественных достоинств этой повести Гоголя, так и ее идейно-исторического содержания. Почин положил известный консервативный литературный критик и прозаик Михал Грабовский. В своей рецензии, написанной по-польски, Грабовский рассматривает все ранее творчество Гоголя, т.е. все, что вошло в циклы “Вечера на хуторе близ Диканьки”, “Миргород” и “Арабески”. В “Вечера”, в частности, входит и не лишенная антипольских акцентов повесть “Страшная месть”, действие которой разыгрывается в козацкой среде.

Но о “Страшной мести” Грабовский не сказал ни слова, все внимание сосредоточив на “Тарасе Бульбе”. Рецензию свою, написанную в форме письма, он сначала опубликовал в русском переводе в “Современнике” (январь 1846), а затем уже в оригинале — в виленском “Рубоне”. Грабовский восторгался “Шинелью”. Понравились ему также “Нос” и “Старосветские помещики”. Но он решительно не принял “Тараса Бульбу”, “ибо, скажу Вам в двух словах, повесть очень слабая”. Книга эта “из числа таких плодов, которые не отнесешь ни к поэзии, ни к истории”. Заранее отвергая упрек в том, что столь резкое суждение могло быть вызвано антипольским звучанием повести, Грабовский напомнил, что в эпопее адресата его письма-рецензии (т. е. в “Украине” Кулиша) “козаки к ляхам дышат во сто раз более яростной ненавистью, но я же воздаю ей должное”.

Бросая Гоголю упрек в плохом знании исторических событий, описанных в “Тарасе Бульбе”, Грабовский признавал, что вековые отношения козачества и шляхетской Речи Посполитой отличались немалой жестокостью, но грешили этим обе враждовавшие стороны, Гоголь же всю вину возлагает на поляков. Этот упрек неверен: в “Тарасе Бульбе” не раз говорится о зверствах козаков по отношению к полякам всех сословий, не только шляхты (женщин сжигают заживо, младенцев поднимают на копья и кидают в огонь). Гоголь, продолжает Грабовский, не скупится на шокирующие (как сказали бы мы сегодня) картины, заимствованные из народных сказаний. А ведь в течение “долгих лет раздоров поляков с козаками взаимные поклепы неустанно кружили в народе по ту и по сю сторону”. Украинцы, одаренные “богатым на выдумки воображением”, создавали себе из этого “самые жуткие пугала”.

Поддержку народным вымыслам Гоголь нашел в “Истории Русов”, которую приписывали тогда перу православного архиепископа Георгия Конисского (1717-1795), — под его именем она и была издана в 1846 году. И до сих пор спорят, кто же подлинный автор этой книги: одни ученые называют Г.А.Полетику (1725-1784); по мнению других, это или его сын, Василий, или канцлер Александр Безбородко, влиятельный сановник при дворе Екатерины II. Гоголь, скорее всего, располагал не книжным изданием “Истории Русов”, а списком (они тогда во множестве ходили по Украине). Сочинение это, в сущности, было подделкой, собранием невероятных рассказов, на что обратили внимание уже современные Гоголю критики, в том числе и Кулиш; в “Рубоне” Грабовский ссылаясь на его мнение, выраженное в “киевской губернской газете”, где тот доказал, “сколь мало достоверны повествования Коницкого (так у Грабовского!)”. В конце XIX в. выдающийся польский историк Тадеуш Корзон соглашался с теми исследователями, которые утверждали, что “История Русов” — не подлинная летопись, а “самый злобный политический пасквиль, рассчитанный на полное невежество русской публики и литературы”.

Но художественная литература управляется своими законами. Здесь зачастую дело решает не достоверность, а красочность повествования. Поэтому так долог перечень писателей, которые полными пригоршнями черпали из рассказанного псевдо-Конисским. Список возглавляет сам Пушкин, тут же оказался и Гоголь. Сравнение соответствующих отрывков “Тараса Бульбы” с текстом “Истории Русов”, проведенное Михалом Балием, показало, что Гоголь частенько обращался именно к этому источнику. Там он отыскал эти рассказы, от которых кровь в жилах стынет, — о медных быках, в которых шляхта живьем сжигала козаков, или о католических

священниках, запрягавших в свои таратайки украинских женщин. Байка об ужасающем быке попала и в широко распространенные легенды о смерти Семена Наливайко, которого якобы сожгли в бронзовом коне или вол&